

10 класс

I тур

Проведите целостный анализ текста (прозаического или стихотворного – на выбор)

Владимир Набоков

Пассажир

— Да, жизнь талантливее нас, — вздохнул писатель, постукивая картонным концом папиросы о крышку портсигара. — Иногда она придумывает такие темы... Куда нам до неё! Её произведения непередаваемы, непередаваемы...

— Все права закреплены за автором, — улыбнувшись, подсказал критик, скромный, близорукий человек с тонкими, подвижными пальцами.

— Нам остаётся только жулить, — продолжал писатель, рассеянно бросив спичку в пустую рюмку критика. — Нам остаётся делать с её творениями то, что делает фильм режиссёр с известным романом. Режиссёру нужно, чтобы горничным в субботний вечер было нескучно, и потому он этот роман меняет до неузнаваемости, крошит его, выворачивает, выбрасывает тысячу эпизодов, вводит придуманные им самим происшествия, новых персонажей, — и всё для того, чтобы получился занимательный фильм, развивающийся без всяких помех, карающий в начале добродетель, а в конце — порок, совершенно естественный в своей условности и, главное, снабжённый неожиданной, но всё разрешающей развязкой. Вот точно так же и темы жизни мы меняем по-своему, стремясь к какой-то условной гармонии, к художественной сжатости. Приправляем наш пресный плагиат собственными выдумками. Нам кажется, что жизнь творит слишком размашисто и неровно, что её гений слишком неряшлив, мы в угоду нашим читателям выкраиваем из её свободных романов наши аккуратные рассказы, — *ad usum Delphini**. Позвольте же по этому поводу вам сообщить следующий случай.

Ехал я в экспрессе, в спальном вагоне. Я очень люблю дорожное новоселье, — холодноватое бельё на койке, фонари станции, которые, тронувшись, медленно проходят за чёрным стеклом окна. Было мне приятно, помнится, что надо мной, на верхней койке, никого нет. Раздевшись, я лег навзничь, подложил под затылок руки, — и лёгкость узкого казённого одеяла была прямо-таки сладостна после пухлости отельных перин. Помечтав кое о чём, — мне о ту пору хотелось писать повесть из жизни вагонных уборщиц, — я выключил свет и очень скоро уснул. И тут разрешите мне употребить приём, частенько встречающийся в таких именно рассказах, каким обещает быть мой. Вот он, — этот старый, хорошо вам известный приём. «Среди ночи

* Буквально: для наследника престола (лат.), здесь: для детского чтения.

я внезапно проснулся». Впрочем, дальше следует кое-что посвежее. Я проснулся и увидел ногу.

— Виноват? — переспросил скромный критик, подавшись вперёд и подняв указательный палец.

— Я увидел ногу, — повторил писатель, — Отделение было освещено, и поезд стоял на какой-то станции. Нога была мужская, крупная, в грубом пёстром носке, продырявленном синеватым ногтем большого пальца. Она плотно стояла на лесенке у самого моего лица, и её обладатель, скрытый от меня навесом верхней койки, как раз собирался сделать последнее усилие, чтобы взобраться на свою галёрку. Я успел хорошенько рассмотреть эту ногу, серый в чёрную клетку носок, фиолетовую ижицу подвязки сбоку на толстой икре. Сквозь трико длинного подштанника неприятно торчали волоски. Вообще нога была препротивная. Пока я на неё смотрел, она напряглась, пошевелила раза два цепким большим пальцем, наконец сильно оттолкнулась и взвилась наверх. Там, наверху, послышалось кряхтение, посапывание, — все звуки, по которым я мог судить о том, что человек укладывается спать. Затем свет погас, и через несколько мгновений поезд тронулся.

Я не знаю, как вам объяснить, — эта нога произвела на меня впечатление гнетущее. Пёстрая, мягкая гадина. И меня тревожило то, что из всего человека я знал только эту недобрую ногу, а фигуры, лица так и не увидел. Его койка, которая образовывала надо мной низкий, тёмный потолок, теперь казалась ниже, я словно ощущал её тяжесть. Как я ни старался представить себе облик моего ночного спутника, всё у меня торчал перед глазами этот крупный ноготь, блестящий синеватым перламутром сквозь дырку шерстяного носка. Вообще странно, конечно, что такие пустяки могли меня волновать, — но ведь, с другой стороны, не есть ли всякий писатель именно человек, волнующийся по пустякам? Как бы то ни было, сон ко мне не шёл. Я прислушивался, — не храпит ли мой неведомый пассажир? Мне показалось, что он не храпит, а стонет, — но, как известно, ночной колёсный стук поощряет галлюцинации слуха. Однако я не мог отделаться от впечатления, что там, надо мной, раздаются какие-то необыкновенные звуки. Я слегка приподнялся. Звуки стали яснее. Человек на верхней койке рыдал.

— Как вы сказали? — прервал критик. — Рыдал? Так, так. Простите, я не расслышал. — И, снова уронив руки на колени и склонив набок голову, он продолжал слушать рассказчика.

— Да, он рыдал, — и его рыдания были ужасны. Рыдания душили его, он шумно выпускал воздух, как будто выпив залпом литр воды, и за этим следовало быстрое всхлипывание с закрытым ртом, какая-то страшная пародия на кудахтание, — и опять вдохание, и опять мелкие рыдающие выдохи, но уже с открытым ртом, — судя по хахакающему звуку. И всё это на шатком фоне колёсной стукотни, ставшей тем самым как бы движущейся лестницей, по которой всходили и спускались его рыдания. Я лежал не шевелясь и слушал, — и при этом чувствовал, что у меня в темноте преглупое лицо: всегда становится неловко, когда рыдает чужой человек. А тут ещё я был невольно связан с ним тем, что мы лежим на двух полках, в

одном и том же отделении, в одном и том же безучастно мчавшемся поезде. И он не унимался, — это ужасное трудное всхлипывание не отставало от меня: мы оба, я — внизу — слушающий, — он — наверху — рыдающий, летели боком в ночную даль со скоростью восьмидесяти километров в час, и только железнодорожная катастрофа могла бы расцезь нашу невольную связь. Потом он как будто перестал, — но только я собрался уснуть, снова заклокотали его рыдания, и мне казалось даже, что попеременно со всхлипывающими вздохами он произносит какие-то слова, нутряным голосом, животом. Он снова замолк, только посапывал; и я лежал с закрытыми глазами и видел в воображении его отвратительную ногу в клетчатом носке. Я всё-таки уснул, а в половине шестого утра проводник рванул дверь, разбудил меня, и, сидя на койке, поминутно стучаясь головой о край верхней койки, я стал поспешно одеваться. Перед тем как выйти с чемоданами в коридор, я оглянулся на верхнюю койку, но он лежал ко мне спиной, накрывшись с головой одеялом. В коридоре было светло, солнце только что встало, синяя, свежая тень поезда бежала по траве, по кустам, изгибаясь, взлетала на скаты, рябила по стволам мелькающих берёз, — и ослепительно просиял удлинённый прудок посредине поля, медленно сузился, превратился в серебряную щель, и с быстрым грохотом проскочил домик, шлагбаум, хлестнула хвостом дорога, — и опять замелькали пятнистым частоколом, от которого кружилась голова, бесчисленные, солнцем испещрённые берёзы. Кроме меня, в коридоре стояли две заспанные, наскоро покрашенные дамы и старичок в замшевых перчатках и дорожном картузе. Я ненавижу вставать рано, — упоительнейший рассвет в мире не может мне заменить часы сладкого утреннего сна, — и поэтому я только хмуро кивнул, когда старичок обратился ко мне: «Вы тоже вылезаете в...?» И он назвал большой город, куда мы должны были приехать через десять-пятнадцать минут.

Берёзы вдруг рассеялись, полдюжины домишек посыпали с холма, едва второпях не попав под поезд, затем прошагала, блистая стёклами, огромная багровая фабрика, чей-то шоколад окликнул нас с пятисажённого объявления, опять фабричный корпус, стёкла, трубы, одним словом, происходило всё то, что происходит, когда подъезжаешь к большому городу. Но вот, к нашему удивлению, поезд судорожно затормозил и остановился на пустынном полустанке, где, казалось бы, экспрессу нечего делать. Меня удивило и то, что на платформе стоят несколько полицейских. Я опустил оконную раму и высунулся. — «Закройте окно», — вежливо сказал один из них. Люди в коридоре заволновались. Прошёл кондуктор; я спросил, в чём дело. «В поезде находится преступник», — ответил он и кратко объяснил на ходу, что в городе, через который мы проезжали ночью, случилось накануне убийство, — муж застрелил жену и её любовника. Дамы ахнули, старичок покачал головой. В коридор вошли двое полицейских и краснощёкий кругленький сыщик в котелке, похожий на букмекера. Меня попросили вернуться в купе. Полицейские остались стоять в коридоре, а сыщик принялся обходить отделения. Я показал ему паспорт. Он скользнул рыжими глазами по моему лицу и отдал мне бумаги. Мы стояли в тесном купе, на

верхней койке неподвижно лежала тёмная, завёрнутая с головой фигура. «Вы можете выйти», — сказал мне сыщик и протянул руку вверх на койку, «Ваши бумаги, пожалуйста». Фигура в одеяле храпела. Стоя у открытой двери, я слушал этот храп, и мне казалось, что в нём ещё просвистывают отзвуки ночных рыданий. «Пожалуйста, проснитесь», — громче сказал сыщик и каким-то профессиональным жестом дёрнул за край серого одеяла, у шеи спящего. Тот шевельнулся, но продолжал храпеть. Сыщик потряс его за плечо. Мне стало не по себе, я отвернулся и принялся глядеть в коридорное окно, но ничего не видел, а всем существом слушал, что происходит в купе.

И представьте себе, я не услышал ровно ничего особенного. Сонно заворчал человек на верхней койке, сыщик отчётливо потребовал документы, отчётливо поблагодарил, вышел из купе, вошёл в следующее. Вот и всё. А ведь казалось, как вышло бы великолепно, — с точки зрения писателя, конечно, — если бы рыдающий пассажир с недобрыми ногами оказался убийцей, как великолепно можно было бы объяснить его ночные слёзы, — и, главное, как великолепно всё бы это уложилось в рамки моего ночного путешествия, в рамки короткого рассказа. Но, по-видимому, замысел автора, замысел жизни, был и в этом случае, как и всегда, стократ великолепнее.

Писатель вздохнул и замолк, посасывая давно потухшую, вконец разжёванную и замусленную папиросу. Критик глядел на него добрыми глазами.

— Признайтесь, — опять заговорил писатель, — вы были уверены, начиная с той минуты, когда я упомянул о полицейских на полустанке, что мой рыдающий пассажир — преступник?

— Я знаю вашу манеру, — сказал критик, кончиками пальцев коснувшись плеча собеседника и, свойственным ему жестом, сразу отдёрнув руку... — Если бы вы писали детективный рассказ, вы бы сделали искомым злодеем не того, кого никто из героев не подозревает, а того, кого с самого начала подозревают все, и тем самым провели бы опытного читателя, привыкшего к тому, что ларчик открывается непросто. Я знаю, что впечатление неожиданности вы любите давать путём самой естественной развязки. Но не слишком увлекайтесь этим. В жизни много случайного, но и много необычайного. Слову дано высокое право из случайности создавать необычайность, необычайное делать не случайным. Из данного случая, из данных случайностей вы могли бы сделать вполне завершённый рассказ, если бы превратили вашего пассажира в убийцу.

Писатель опять вздохнул:

— Да-да, я об этом думал. Я прибавил бы несколько деталей. Я намекнул бы на то, что убийца страстно любил жену. Мало ли что можно придумать. Но горе в том, что неизвестно, может быть, жизнь имела в виду нечто совсем другое, нечто куда более тонкое, глубокое. Горе в том, что я не узнал, почему рыдал пассажир, и никогда этого не узнаю....

— Я заступаюсь за слово, — мягко сказал критик. — Вы, писатель, по крайней мере, создали бы яркое разрешение. Ваш герой, может статься, плакал потому, что потерял бумажник на вокзале. У меня был знакомый, —

взрослый мужчина необычайно воинственной наружности, — который плакал в голос, когда у него болели зубы. Нет-нет, спасибо. Больше мне не наливайте. Достаточно, вполне достаточно.

1927

Владимир Владимирович Набоков (1899—1977) — русский писатель, после 1940 г. писал на английском языке; литературовед, переводчик. Рассказ «Пассажир» входит в сборник «Возвращение Чорба» (1930), включающий 15 рассказов и 24 стихотворения.

Евгений Баратынский

Пироскаф

Дикою, грозною ласкою полны,
Бьют в наш корабль средиземные волны.
Вот над кормою стал капитан:
Визгнул свисток его. Братствуя с паром,
Ветру наш парус раздался недаром:
Пенясь, глубоко вздохнул океан!

Мчимся. Колёса могучей машины
Роят волнистое лоно пучины.
Парус надулся. Берег исчез.
Наедине мы с морскими волнами;
Только что чайка вьётся за нами
Белая, рея меж вод и небес.

Только вдали, океана жилища,
Чайке подобно, вод его птица,
Парус развив, как большое крыло,
С бурной стихией в томительном споре,
Лодка рыбачья качается в море, —
С берегом набережное скрылось, ушло!

Много земель я оставил за мною;
Вынес я много смятенной душою
Радостей ложных, истинных зол;
Много мятежных решил я вопросов,
Прежде, чем руки марсельских матросов
Подняли якорь, надежды символ!

С детства влекла меня сердца тревога
В область свободную влажного Бога;
Жадные длани я к ней простирал.
Тёмную страсть мою днесь награждая,

Кротко щадит меня немочь морская:
Пеною здоровья брызжет мне вал!

Нужды нет, близко ль, далеко ль до берега!
В сердце к нему приготовлена нега.
Вижу Фетиду: мне жребий благой
Емлет она из лазоревой урны:
Завтра увижу я башни Ливурны,
Завтра увижу Элизий земной.
Средиземное море, 1844

Евгений Абрамович Баратынский (Боратынский, 1800—1844) — поэт, известный, прежде всего, философской лирикой. Товарищ и собеседник Пушкина. Стихотворение «Пироскаф» написано в мае 1844 г. на пароходе, по пути из Марселя в Ливорно. Поэт умер в Неаполе 29 июня /11 июля 1844. «Пироскаф» стал его предпоследним стихотворением.

Примечания

Пироскаф — (фр. *pyroscaphe* < греч. *pyr* огонь + *skapnos* судно) — первоначальное название парохода.

Днесь — теперь, сегодня.

Фетида — самая известная из nereид, морских богинь, мать Ахиллеса.

Емлет — вынимает.

Ливурна (Ливорно) — город-порт в итальянской провинции Тоскана.

Элизий — в античной мифологии часть загробного мира, где царит вечная весна; место обитания героев и праведников.